



Г. В. ФЛОРОВСКИЙ

Пути русского богословия

<...> В этой связи нужно назвать еще одно имя, очень значительное и очень обособленное, — имя Н. Ф. Федорова (1828¹–1903)... При жизни его как мыслителя знали немногие, за пределами узкого круга его личных приверженцев. Правда, он был в общении и с Достоевским, и с Соловьевым, и с Львом Толстым, и умел их вовлекать в диалектику своих идей. Влияние Федорова на Соловьева особенно чувствуется в девяностые годы. Мотивы Федорова легко распознать в замысле «Братьев Карамазовых» (тема отцеубийства как греха по преимуществу, в противоположении мысли Федорова о воскресении предков, и некоторые другие мотивы). Однако только после смерти Федорова впервые были изданы его рукописи, и то «не для продажи»... Федоров не был писателем, даже для самого себя записывать свои мысли он начал сравнительно поздно, и все его произведения входят в литературный оборот очень не скоро после написания². Понять его всего легче в перспективах его эпохи, в мечтательной и утопической обстановке семидесятых годов... Федоров был *одиноким мыслителем*... Он много и настойчиво говорил о «соборности». Но сам он был человек *уединенный*. И эта уединенность, это духовное одиночество принадлежит к самому интимному строю его мысли. В учениях Федорова и в самой его личности было очень много от XVIII века. Он архаичен в своем опыте и мировоззрении, у него каким-то странным образом оживает весь этот слишком благодушный, невозмутимый и счастливый оптимизм Просвещения. В этом отношении Федоров психологически напоминает Льва Толстого, как бы они ни расходились в своих взглядах... Федоров был мыслитель острый и тонкий. Он умел вскрывать подлинные апории и ставить решительные вопросы. Но в его ответах всегда меньше, чем в вопросах, — есть в них всегда какая-то рассудочная упрощенность... Это был *мечтатель*, — у него *мечты* всегда больше, чем *прозрения*... Да, конечно, он всегда возражал против отвлеченной теории и сам притязал

строить философию дела, философию проективную... Но именно в этом его «проективизме» мечтательство и сказывается всего острее. *Одинокая мечта об общем деле* — вот основной паралогизм философии Федорова... И со своим «проектом» он точно приступает к действительности извне, как с неким предписанием, и с предписанием гетерономным... Это очень напоминает законодателя и благодетеля в духе XVIII века... Всего менее можно сближать Федорова с почвенничеством. Федоров был натуралистом в своей метафизике, вся его концепция выполнена в категориях природного бытия. Но сам он был беспочвенным, был *мечтателем* о почве. Подлинная «*власть земли*» у него совсем и не чувствуется... Федоров прожил всю жизнь, точно был и не от мира сего. Не потому так случилось, что в предвосхищении он уже восходил в горние миры, и не потому, что уходил подвизаться хотя бы и во внутреннюю пустыню. Нет, именно в этом мире он только отгораживался, огораживал себя *мечтою* или *идеєю*... Он вел суровую жизнь. Но его скорее следует назвать абстинентом, чем подвижником, и древних киников его бедность напоминает больше, чем Франциска Ассизского. Он именно воздерживается, уклоняется, сторонится, но не подвизается. И в его мечтательном «проективизме» очень силен привкус «неделания», и самая его скромность или бедность есть своеобразный вид неделания, — он *выступает* из существующего порядка... Он предлагает свое *особенное* дело... Очень удачно один из критиков говорил о *прельщении трезвостью* в мировоззрении Федорова... Словесно Федоров как будто в церковности и в православии. Но это только условный исторический язык. У Федорова совсем не было интуиции «новой твари» во Христе, он не чувствовал, что Христос есть «потрясение» для природного порядка и ритмов. О Христе он говорит *очень* редко, мало³ и неясно, в каких-то бледных и неубедительных словах. Строго говоря, у Федорова нет никакой христологии вовсе... В его «проектах» нет вовсе *потусторонности*, есть прямое *нечувствие преображения*... Строго говоря, у Федорова была одна всепоглощающая тема, один навязчивый замысел. Это — тема о *смерти*. И этот замысел — *воскрешение мертвых*. И вот в том, что Федоров говорит о смерти и воскресении, поражает его нечувствие. Странно сказать, но в смерти он не чувствовал тайны, не почувствовал в ней темного жала греха. Для Федорова то была скорее загадка, чем тайна, и неправда больше, чем грех. И эту загадку смерти он почти что исчерпывает в пределах морали и евгеники. «Воскрешение предков», восстановление *родовой полноты и цельности*, восстановление естественного и психологического братства — этим и исчерпывается для него духовная сторона победы над смертью. В природе «воскрешение» означает только переключение и обращение энергий, означает *разумную регуляцию* процессов. Сам Федоров подчеркивал, что

ничего «мистического» здесь нет и быть не должно. И вообще Воскресение он представляет себе, как некое возвращение к *здесь-ней* жизни, только в восстановленной полноте рода... Нечувствие греха (только «недомыслие»!) искажало для Федорова все перспективы. Он не мог вместить в свою систему и осмыслить самое понятие *спасения*, — «спасаться», собственно, было не от чего... У человека есть только один действительный враг, с которым Федоров и призывал бороться, предполагая, что у человека есть силы этого врага побороть, — это — *природа* или *смерть*... И это враг только временный... Природа слепа и в этой своей слепоте губительна и смертоносна. Но стихия сильна, *пока* не обуздана. Сильна, *пока* не силен человек, *пока* он не прозреет. И человек сильнее природы, и он призван овладеть природою, обуздать и обратить в покорное орудие смысла и разума. Тогда и смерть прекратится... «Природа в нас начинает не только сознать себя, но и управлять собою. В нас она достигает совершенства или такого состояния, достигнув которого, она уже ничего разрушать не будет, а все в эпоху слепоты разрушенное восстановит, воскресит...» Так природа становится и достигает исполнения в труде и делании человека. Человек не до-создан природою, и сам должен и самую природу до-создать. Он должен внести в природу разум... В мировоззрении Федорова самым неясным оказывается учение о человеке. Интересует Федорова, собственно, только *судьба человеческого тела*. И ведь именно чрез тело человек и срощен с природою... Но остается совсем неясно, какова же судьба *души*?.. Остается и то неясным, *что же есть смерть*?.. Остается неясным, *кто* умирает и *кто* воскресает, — *тело* или *человек*?.. О загробной жизни умерших Федоров едва упоминает. Он говорит больше о их могилах, об их могильном прахе. И весь феномен смерти в изображении Федорова сводится, собственно, к тому, что поколения вытесняют одно другое, что слишком коротки сроки жизни, и вся совокупность человеческих поколений не может осуществиться сразу. Смерть в его понимании есть только *натуральный изъян*, недоразвитость природы и мира. «Нет смерти вечной, а устранение смерти временной — наше дело и наша задача...»⁴ Потому и врачевание против смерти предлагается *натуральное*, в пределах природы, силами человека и природы, без всякого трансцензуса, без благодати. «Нужно еще прибавить, что воскресение, о котором здесь говорится, есть не мистическое, *не чудо, а естественное следствие успешного познания* совокупными силами всех людей *слепой, смертоносной силы природы*...» Федоров настойчиво подчеркивает *эквивалентность* этого естественного восстановления... В изображении «дисгармоний человеческой природы» Федоров странным образом напоминает Мечникова⁵. Оба решают один и тот же вопрос. У Мечникова, может быть, даже больше тревоги, больше «пессимизма» в начале и боль-

ше заботы или внимания к индивидуальной судьбе. Федоров мало интересуется судьбой отдельной особи или организма о себе. И в воскрешенном мире его интересует не столько полнота лиц, сколько именно полнота *поколений* — осуществленная или восстановленная *целость рода*... Учение о человеческой *личности* у Федорова совсем не развито. Индивид остается и должен быть только *органом рода*. Потому и среди чувств человеческих выше всего Федоров ценит привязанности и связи кровные, «родственные». В таком же смысле толкует Федоров и самое учение о Св. Троице... Разгадку смерти Федоров ищет на путях какой-то человеческой биотехники. И характерно, что *органическим* процессам он противопоставляет *технические*, естественной силе *рождения* — человеческий *труд* и *расчет*. В природе Федоров не видит и не признает никакого смысла, ни целей, ни красоты. Мир есть хаос и стихия, потому в нем и нет мира. Смысл в мир привносится только трудом, — не творчеством... *Жизненному порыву* Федоров *противопоставляет трудовой проект*, — своего рода некую *космическую многолетку*... Человек для Федорова есть прежде всего техник, почти что механик природы, распорядитель и распределитель. И высший образ действия для него — *регуляция*... Разум должен согласить и сочетать хаотические движения и процессы мира, внести в них разумную закономерность. Метеорическая регуляция для начала, и в будущем — управление движениями самой Земли. Мы должны стать небесными механиками в прямом смысле, покорить сознанию космос. «Когда этот вопрос будет разрешен, тогда впервые в небесном пространстве явится звезда или планета, управляемая сознанием и волею». В том и видит Федоров язву грехопадения, что человек потерял свою космическую власть и мощь. И в человеке ослепла самая природа... Главное же в том, чтобы вернуть или восстановить свою власть над собственным телом... Человек должен вновь овладеть своим телом изнутри, — «должен настолько познать себя и мир, чтобы иметь возможность *производить себя из самых основных начал*, на которые разлагается человеческое существо». И это умение «воспроизводить себя» предполагает соответственную власть и над всяким человеческим телом, над материей вообще, «познание и управление всеми молекулами и атомами внешнего мира», — ибо весь мир есть прах предков. Извлекать частицы умерших тел придется из сидерических далей, из теллурических глубин... Для Федорова здесь вопрос стоит именно о собирании и сочетании частиц, о складывании разложившегося («сложить в тела отцов, какие они имели при своей кончине»)... Он и вообще хочет космический *организм* перестроить или обратить в *механизм*. И ожидает, что от такого обращения и рационализации мир оживет и воскреснет, станет бессмертным. «Обращая влияние земной массы в сознательный труд, объединенный род че-

ловеческий даст земной силе, управляемой разумом и чувством, следовательно, силе живоносной, преобладание над слепыми силами других небесных тел и соединит их в одном живоносном деле воскресения...» Тогда и откроется «*трудовой рай*»... Сила — от знания и от сознания. Сила — от разума. Смерть от природы, жизнь от сознания, сознания человеческого. И воскрешение есть дело человеческое, дело науки и дело искусства. Воскрешаются умершие естественными силами, теми же силами природы, только повороченными к новым целям. «Человек ни уничтожить, ни создать ничего не может, а может лишь превращать и воссоздавать...» Федоров имел в виду прежде всего обращение естественной и стихийной силы рождения, «превращение рождения в воскрешение», использование эротической энергии рождающего пола для восстановления родовой полноты. К рождению Федоров относится с брезгливой стыдливостью и гнушением. «Природному размножению в христианстве соответствует, в отрицательном смысле, — целомудрие, т. е. отрицание рождения, а в положительном — всеобщее воскрешение, т. е. воспроизведение *из того излишка, который тратится на родотворение* и из праха, произведенного разрушительной борьбой, прежде живших поколений...» В этом странном религиозно-техническом проекте хозяйство, техника, магия, эротика, искусство сочетаются в некий прелестный и жуткий синтез. И Соловьев имел повод спросить, не будет ли это «*оживлением трупов*»^{6?} Есть у Федорова несомненный привкус какой-то некромантии... И нужно еще раз подчеркнуть: Федоров всегда *предпочитает сделанное — рожденному, и искусственное естественному*... Своеобразие религиозного построения Федорова не в том, что созерцательному или *аскетическому* христианству он противопоставляет «*деятельное*»... Он идет много дальше. *Божественному* действию он противопоставляет *человеческое*. Он *благодати* противопоставляет *труд*. Одно *вместо* другого. Мир замкнут в себе... «Знанием вещества и его сил восстановленные прошедшие поколения, способные уже воссоздать свое тело из элементарных стихий, населят миры и уничтожат их рознь... Земля станет первой звездой на небе, движимую не слепую силою падения, а разумом, восстанавливающим и предупреждающим падение и смерть. Не будет ничего дальнего, когда в совокупности миров мы увидим совокупность всех прошедших поколений. Все будет родное, а не чужое... Этот день будет дивный, чудный, но *не чудесный*, ибо воскрешение будет делом *не чуда, а знания и общего труда*...» С этим гуманистическим активизмом у Федорова связано условное понимание эсхатологических пророчеств Библии — как предупреждений и предостережений, обращенных педагогически к воображению и воле людей. Они говорят только о том, что *случилось бы под условием* человеческого неделания. И для Федорова это все-таки толь-

ко некий *casus irrealis*...⁷ Любопытно, что «трансцендентное» воскрешение силою Божией, по Федорову, приравнивается «воскресению суда», воскресению гнева. В жизнь воскреснуть человек должен и может только собственной или естественной силой... Федоров вдается в исключительность самого крайнего оптимистического пелагианства... Догмат Богочеловечества в системе Федорова совсем не раскрыт. «Религия» Федорова есть *религия человечества*. Это своеобразный «культ предков» — так настаивает сам Федоров. И «*религия всеобщего предприятия*» — опять его собственное определение... Учение Федорова есть своеобразная форма религиозного позитивизма, утонченная форма «позитивной религии». И, строго говоря, ничто не изменится, если в нем умолчать о Боге (как многие из продолжателей Федорова теперь и поступают)... Говорят, Федоров был церковным человеком. Но его мировоззрение, «в большинстве своих предположений», не было христианским вовсе и с христианским откровением и опытом резко разногласит. И это скорее идеология, чем действительная вера... «Христос есть воскреситель и христианство есть воскрешение; *завершением служения Христа было воскрешение Лазаря...*» Это не случайная обмолвка. Христос и был для Федорова только величайшим *чудотворцем*, которому духи и стихии повинуются. Таинство Креста оставалось для него закрытым — «и самая крестная казнь, и смерть Христа были *лишь* бессильным *мщением врагов воскрешения* и врагов Воскресителя...» Вифания, где воскрешен был Лазарь, для Федорова выше Назарета, и Вифлеема, и самого Иерусалима... У Федорова остается одно прикладное христианство без основного. Его «проект» нисколько не выводит за пределы «слишком человеческого». И не в христианском Откровении источник его вдохновений. Федоров исходит из других преданий и традиций. Он строит какое-то «новое христианство». Его историческая память своеобразно сужена. Он строит именно нечто новое... И очень характерно, что у Федорова оказывается неожиданно много точек близости и соприкосновения с «Позитивной политикой» Огюста Конта. Можно думать, не случайно и Влад. Соловьев взялся вновь за чтение Конта в девяностые годы, когда влияние Федорова на его мысль сказывалось так очевидно. В известной его статье о Конте нетрудно распознать прямые намеки на Федорова... Соловьев выделяет у Конта мотив *воскресения*. «Конт не высказывает прямо этой мысли, но кто с добросовестным вниманием прочтет все четыре тома его “Politique positive”, тот должен будет признаться, что никто из знаменитых в мире философов не подходил так близко к задаче *воскресения мертвых*, как именно Август Конт...»⁸ И, кстати заметить, вряд ли случайно Соловьев называет здесь воскресение «*задачей*»... Мысль Конта действительно всегда обращена или поворочена к *предкам*. И «позитивный культ» есть

именно культ предков прежде всего. О погребении и о кладбище Конт размышлял с таким же вниманием и настойчивостью, как и Федоров. Общественный культ в «религии человечества» и прикрепляется к священным некрополям... Прямо Конт говорит только об «идеальном воскресении» — в памяти или вечном памятовании, в культе умерших, всего больше — в единодушии и единомыслии сменяющихся поколений с отошедшими. Но подразумевает он при этом нечто большее. Он думает все время об оживляющей силе любви... «Великое Существо» и состоит прежде всего из усопших, из предков. И через них Великое Существо и действует в истории еще становящегося человечества. Усопшие властвуют над живыми тройною силою примера, давности, предания. И ряд предков важнее толпы современников. В том залог поступания, чтобы власть усопших усиливалась. Непрерывность в предании и времени даже важнее солидарности или согласия среди живущих... У Конта очень силен этот пафос исторической «непрерывности», потребность интегрировать всю полноту пережитой истории в действительное единство. В позитивном «культе предков», в этой «идеализации» и «адорации» отошедших сказывается самая острая потребность встретиться и быть с умершими, как с живыми, — потребность преодолеть этот тягостный разрыв между сменяющимися поколениями, остановить мгновение, остановить самое время. И последнее «тайнство» позитивного культа есть обряд «включения» или «инкорпорации», т. е. торжественного причтения усопших к благородному сонму предков, к составу «Человечества»... С Контом у Федорова прежде всего тема общая. И тот же дух притязаемой «научности», такой же натурализм или «физицизм». Федоров идет дальше Конта, у него много своего. Но «тип» мировоззрения у них одинакий... Есть и другие точки сходства между ними. Теория брака у Конта очень напоминает замысел Федорова «обращать» эротическую энергию, и еще больше напоминает Конта Соловьев (разумею его «Смысл любви»⁹). Мысль Федорова организовать в постоянный «вселенский собор» представителей духовенства, науки и искусства имеет много параллелей в проектах Конта и еще Сен-Симона... Много общего у Федорова и с Фурье, с его «мистическим позитивизмом», где так причудливо перемешаны мотивы Дидро и Ретифа¹⁰. Роднит их греза о возрождении природы и воскресении умерших, притом именно чрез сознательную регуляцию природы. И, подобно Фурье, Федоров ставил и положительно решал «небесно-переселенческий вопрос» — «вознесение воскрешенных поколений на небесные миры или земли, которые и будут... воссоздаемы и управляемы вознесенными на них поколениями воскрешенных». Но на тему о «родстве» Федоров с Фурье резко расходится... Мировоззрение Федорова сложилось под французскими влияниями, немецкой философии он не любил. Из

французского утопизма отчасти у него и самый пафос социального строительства и «дела». И все его размышления о «не-родственном» состоянии мира очень близко напоминают учения французских позитивистов и социалистов об «анархии», (у Ог. Конта), об оскудении «братства» (у Сен-Симона), о «раздроблении» жизни (у Фурье). Самоутверждению личности во всех этих системах противопоставляется начало общения и братства, начало согласия и совместного труда. Роднит с ними Федорова и его пафос родовой полноты и цельности — под другими именами он говорит всегда именно о «Человечестве»... В частности, у самого Фурье и в фурьеризме были очень сильные связи с давней магической традицией. Эти магические традиции вновь оживают и у Федорова... Он и остается до конца в этом безысходном кругу магического и технического натурализма, этого чудотворчества разума и сознания («психократия»). В его мировоззрении не остается места для свободного вдохновения и творчества, нет места и для умного делания, для духовной жизни и молитвенных восхождений. О таинствах говорит он как-то двояко. И магия «всеобщего предприятия» для него реальнее Святейшей Евхаристии... Все мировоззрение Федорова поражено неисцельным практицизмом, под именем «трудового сознания» он проповедует самый насильнический утилитаризм. Личность подчиняется «проекту». Он и сам проговаривается о «тягле» своего принудительного религиозно-магического «проекта». Под именем свободы он разумет тоже только труд, — своими руками... В системе Федорова душно, сколько бы он ни говорил о небесных просторах и переселениях по звездам. В ней чувствуется зачарованность смертью... У Федорова много ярких и немало верных мыслей и много чутких догадок и наблюдений. Это был больше упрямый, чем смелый мыслитель. В критике и в своих исканиях Федоров часто бывает прав. И прежде всего был он прав в этом требовании «делового слова», в этой жажде христианского дела. Но и эта правда изнутри обессилена гуманистической самоуверенностью... «Дело» он измыслил себе соблазнительное и напрасное... И блеск мечты не есть пламень благодати... <...>

